

05.11.11

HEBA



11 • 2011

Ольга ПУССИНЕН

СЛАВНОЕ МОРЕ — СВЯЩЕННЫЙ БАЙКАЛ,

ИЛИ

О ВИДАХ СОВРЕМЕННОЙ НОСТАЛЬГИИ

Тоска по родине! Давно
Разоблаченная морока!

М. Цветаева

Во сне я побывала в Раю, как ни странно. Раем оказалась родная Ясиноватая: кленовые аллеи, дубы, ивы... Сегодня ишу фото родных пенат в инете и плачу: тянет к истокам, старею...

Из рассказа современной эмигрантки

Нет, это не наша Родина,
Родина — где-то там.
Листья такие же, вроде бы
Так же летят к ногам,

Небо такое же светлое,
Так же бездонно оно,
Кажется — не на что сетовать,
Я и не сетую, но

Это не наша Родина,
Родина — далеко,
Родина — проворонена,
Спрятана под сукно.

Дальше! Как смерть Кашеева
Где-то на дне морском
Или на дне ущелия
Недосягаемом!

Дух в ностальгии плавится,
Прежде, чем он поймет:
Родина начинается
С выезда из нее.

Я прочитала это стихотворение живущего в Финляндии русского поэта Алексея Ланцова на конференции в милом и уютном российском городе Т., где я рассказывала о направлениях современной эмигрантской литературы и, в частности, об издающемся в Финляндии литературно-художественном журнале «Иные берега». По вечной российской неразберихе мой доклад с первого места сместился на последнее, так что собранные для количества студентки-первокурсницы педфака

Ольга Пуссинен родилась в Мордовии, окончила Московский университет, защитила кандидатскую диссертацию в Петербургском университете («Концепция человека в творчестве Иво Андрича»), докторант Хельсинкского университета. Участник Объединения русскоязычных писателей Финляндии, главный редактор журнала «Иные берега». Поэт и ученый-филолог. В настоящее время учится в докторантуре Хельсинкского университета на кафедре славистики и балтистики. Литературные публикации — в журналах «Иные берега» и «Северная Аврора». Живет в Хельсинки с 2001 года.

уже утомились от обильной порции научной информации и, не стесняясь, погрузились в обсуждение насыщенных и важных девичьих проблем: в аудитории стояло мерное жужжание меццо-сопрановой тональности, разбавляемое всплесками приглушенных смешков. По правде сказать, я даже и не надеялась привлечь их внимание, но чудо тем не менее свершилось: на второй строфе гул затих, на третьей воцарилась тишина. После последней последовали дружные аплодисменты, которые я, увы, никак не могла передать автору, занесенному судьбой в провинциальный финский городок со смешным для русского уха названием Сало.

В перерыве резвые, еще не расставшиеся с детством барышни радостно разбежались пить чай и кофе, а за мою парту подседа положившая свою жизнь на изучение и преподавание русского языка старая армянка, тяжеловесная и грузная, с волосами, выкрашенными в красное-дерево-медь. Положив мне на запястье свою сухую, испещренную пигментными пятнами руку, она произнесла с неистребимым классическим восточным акцентом: «Спасибо! Спасибо вам за стихотворение!», и ее темно-карий, переходящий в черноту взгляд медленно заблестел налившимися слезами. «Ну что вы!» — попыталась забыть я атмосферу, но она не приняла моей этикетности, продолжая повторять свое настойчивое спасибо. На него, как на пароль, к нам подошла молоденькая аспирантка: тонкая, робкая и трепетная, как пугливая лань, чеченка с серо-зелеными глазами, странно выделявшимся на смуглом южном лице. «Да, — сказала она уже на совершенно чистом русском языке, без всяких примесей восточного произношения, — я тоже хотела сказать спасибо. Это так... Это правда...» Задохнувшись от смущения, она замолчала, не умея дальше высказать охвативших ее чувств, но, впрочем, нам троим и не надо было ничего друг другу объяснять. Мы понимали друг друга без слов, мы чувствовали нутром и кожей каждую строчку этих стихов, мы были избранными и отверженными, мы были гоями и изгоями, мы были мечеными, рыжими-рыжими-конопатыми среди уравновешенной и устойчивой массы темно- и светлорусоволосых братьев и сестриц, которых не носило по чужим местам, как перекати-поле, которые укорененно и традиционно жили-были на знакомой с детства земле: где родился, там и пригодился.

После конференции я отправилась к родственникам, живущим на другом конце города Т. Лихо промчавшись на маршрутке, смело и бесшабашно маневрировавшей по запруженным в час пик улицам, я высадились на подсказанной отзывчивым и любознательным народом остановке и, перейдя через дорогу, внезапно оказалась на краю наполненной водами сентябрьских, октябрьских и ноябрьских дождей большой глубокой лужи, простиравшейся в начале улицы, носившей гордое имя великого русского литератора Белинского. Обойти лужу было весьма непросто, поскольку она расплескалась от одного конца узкой улочки до другого, а края ее были болотистыми и топкими, не укрепленными никакой асфальтовой поддержкой. Пришлось остановиться.

Я постояла на левом краю лужи пару минут и вроде бы наметила стратегию окольного пути, пойдя которым риск выпачкаться в грязь новенькие темно-красные замшевые сапоги был, кажется, минимальным. Тем не менее я продолжала стоять: странное чувство постепенно овладевало мной, не давая спокойно и уверенно обойти лужу и постучаться в ворота дома, где меня уже давно ждали. Лужа волновала меня и притягивала, словно далекая Марсианская впадина или еще более далекая черная космическая дыра, и все же с ней было связано что-то до боли знакомое и свое, хоть пока и неузнаваемое, засыпанное пеплом прожитых лет. Это была непростая лужа, хитрая, как текст с подтекстом, как шкатулка с секретом, как набор расставленных в серванте среди посуды матрешек, которых я раскладывала в детстве по порядку. Шестеро сестриц были обычными деревенскими дунышками и маруськами, смотревшими на меня блестяще-лупоглазыми недумающими очами, но вот последняя, седьмая, самая махонькая, была ни в сказке сказать ни пером описать — самой на-

стоящей Василисой Премудрой, умницей-разумницей, знавшей ответы на самые заковыристые вопросы и загадки. «Ну, — требовательно обратилась я к ней, — не томи уже, скажи! Сколько мне тут еще топтаться?..» И малютка Василиса тут же откликнулась. «Что ж ты, — укоризненно покачала она головой, — где память-то растеряла? Совсем, что ль, все позабыла? Славное море — священный Байкал, — или не помнишь?» И тогда я вспомнила.

Лужа, у которой я томила, была действительно связана со славным морем — священным Байкалом но не с тем настоящим, которого я до сих пор в глаза не видала, а с моим собственным, имевшимся лишь в моем личном распоряжении давным-давно: мое славное море — священный Байкал находилось в маленьком российском городе Р., где я родилась и выросла и из которого безжалостно уехала уж более пятнадцати лет назад, торопясь вырваться в настоящие столичные города, где жизнь бурлила, кипела и вихрилась событиями.

Городишко этот в те совершенно далекие и канувшие в лету брежневско-черненко-андроповские времена был затюханным и занюханным. Да и потом, в перестройку и при диком капитализме, особо не менялся, оставаясь оплотом матерой российской провинции: село, подсолненное городскими приправами. В центре, напротив вокзала, стоял мощный стальной Ильич, сжимающий в левой руке любимую историческую кепку, а по окраинам, которые начинались со всех сторон буквально через две улицы, летом паслись привязанные к колышкам козы. В пять вечера по ведущему к городу Р. шоссе неторопливо и степенно шествовало довольно большое стадо коров, покачивавших раздутыми от поглощенной за долгий летний день травы боками. По-моему, был даже бык, потому что в красном платье попадаться стаду на глаза считалось опасным. И потом, коровы регулярно телились, значит, бык был точно.

Цивилизация во времена моего детства и отрочества затронула родной город Р. лишь вскользь и самую малость, так что основательно заасфальтированы в нем были лишь две улицы: центральная Ленина и врезавшаяся в ее основание под прямым углом Карла Маркса. Улица Энгельса в городке отсутствовала: вероятнее всего, асфальта на нее уже просто бы не хватило. Остальные улицы и переулки были заасфальтированы кое-как, отрывочно, сумбурно и так давно, что под ногами частых пешеходов и несчастных машин асфальт давно прохудился. Моя улица революционера Ухтомского, закрепившегося в местной истории по причине железнодорожной стачки, которую он активно и успешно организовывал в далеком 1905 году, не была исключением: асфальта там не было и в помине, а потому осенью и весной по ее природным изгибам, впадинам, углублениям, ямам и ямкам образовывались разного размера лужи и лужицы: большие, средние и малые, вдоль которых под дождем или осенним солнцем сновали прохожие и собаки. Самая большая и даже огромная лужа — нет, лужица — располагалась совсем рядом с хрущевской пятиэтажкой, где я жила. Это была могучая лужа, глубокая и полноводная, наполненная густой темно-желтой жидкостью, простиравшаяся от края до края весьма широкой улицы. Миновать ее не было никакой возможности, но я к этому и не стремилась. Утром времени на лужу не было, но вот на обратной дороге, возвращаясь из школы по весне или осени, я неизменно направлялась к ней. Я вступала в нее постепенно и медленно, медленно начинала бродить вправо и влево, устремляясь к центру, заходя все глубже и глубже, до тех пор, пока вода не достигала самого края моих красных резиновых сапог. До середины я не доходила никогда: середина плескалась не менее чем в двух-трех метрах, которые по моим десяти годам казались мне огромным и непреодолимым расстоянием. Постояв на достигнутом месте, я начинала двигаться обратно столь же извилистым и прихотливым маршрутом. На такое путешествие уходило от пяти до двадцати минут, в зависимости от погоды и настроения. Я проделывала этот финт, наверное, года три — лет, наверное, до двенадцати, пока не начала вырастать из детства и лужа мне не надоела.

Мое плавание по просторам лужи практически изначально оформлялось музыкальным сопровождением — почти каждый раз я довольно громко напевала известную полународную песню: *Славное море — священный Байкал, / Славный корабль — омулёвая богка, / Эй, баргузин, пошевеливай вал, / Молодцу плыть недалётко!* Больше двух первых куплетов я не знала, но и их мне вполне хватало. По малолетству я не имела понятия о том, что *баргузин* — это диалектное название байкальского ветра, а потому с легкостью перевела это слово в разряд имен собственных. В моем представлении и исполнении это был уже Баргузин — неведомый грозный мужчина, плывший по бескрайней луже в одном бочкообразном корабле с Молодцем. Молодец был похож на Иванушку-Леля с палехских шкатулок: русо-кудрявый, фольклорно-изгибистый и с дудочкой-свирелью в нежных руках. Баргузин же был темный, большой и загадочно-дремучий, заросший огромными бармалеевскими усами и бородой, с красным платком на голове (тогда я, естественно, ведать не ведала слова *бандана*) и золотой цыганской серьгой в ухе. И если Молодец был одет в светлую льняную русскую рубаху до колен, подпоясанную плетеным пояском с кистями, то на Баргузине были рваная грязная матроска и широкие турецкие шаровары. Из-за голенища его правого черно-блестящего сапога виднелась резная рукоятка кинжала. Баргузин был непонятный, опасный и даже страшный. Тем не менее текст песни не давал мне испугаться окончательно: коли Молодец обращался к Баргузину столь начальственно, значит, главным в этой паре все-таки был он, и Баргузин был вынужден подчиняться его приказам: *Эй, мол, Баргузин! Чего расселся, давай вон — пошевеливай вал! Вал же представлялся мне неким гибридом из весла и паруса. Точно так же прилагательное омулёвый я воспринимала как качественную характеристику корабля: есть корабли деревянные, есть железные, а есть омулёвые.*

Воспоминания из далеких детских времен: лужа на улице революционера Ухтомского, славное море — священный Байкал и Молодец с Баргузином, плывущие по нему от неведомых акатуйских гор незнамо куда — в *Недалётко*, — вспыхнули в моем мозгу с невероятной яркостью и наглядностью за те недолгие минуты, в течение которых я стояла у края лужи на улице Белинского. Хотя, конечно, лужа города Т. и в подметки не годилась великой луже родного города Р., — так, слабое подобие, ограниченное и сжатое напиранием со всех сторон цивилизацией и техническим прогрессом. Однако я вспомнила даже то, что Баргузин в моих фантазиях отдаленно напоминал самого отпетого хулигана в классе — залихватского пацана Эдика, в котором бурлило много кровей, не дававших ему покою, но цыганская, толкавшая на разнообразные проделки и шалости, сбивала мальчонку с пути истинного сильнее всего: на его непутевой голове вились черные мягкие кудри, нос уже в десять лет был крючковат и хищен, а взгляд черных матовых глаз врожденно нахален. Эдиков портрет довершала щель, темневшая среди белоснежного ряда крепких от природы зубов, через которую он умел сплевывать цинично и изящно, с легким артистическим прицокиванием. Щель образовадась в результате наполовину сломанного в драках начальных классов левого резца. «Хорошо хоть нос ему тогда не сломали!» — внезапно подумала я, потрясла головой и, наконец-то очнувшись от наваждения, все-таки сумела продолжить свой путь. Причем старый опыт сослужил-таки свою службу: я обогнула лужу настолько мастерски, что следов грязи на любимых сапогах практически не осталось. Так, на подошве слегка...

Вернувшись в Хельсинки, я зажила привычной жизнью, но воспоминания о славном море — свяшенном Байкале, вызванные встречей с лужей города Т., не давали мне покоя. С одной стороны, они будили во мне самые теплые чувства, но с другой — я их стеснялась и стыдилась: какое может быть умиление вокруг лужи? Лужи связаны с топями, болотами, лягушками, хлябью, сыростью, неустроенностью и не должны вызывать в сознании положительных коннотаций. Одно дело, когда по дороге куст встает, особенно, как известно, приятное глазу растение рябина. Тут, понят-

Конец ознакомительного фрагмента

Уважаемый читатель!

Размещение полного текста данного произведения невозможно в связи с ограничениями по IV части ГР РФ.

Эту книгу Вы можете почитать в Оренбургской областной универсальной научной библиотеке им. Н. К. Крупской по адресу: г. Оренбург, ул. Советская. 20; тел. для справок: (3532) 60-61-30